

Индия
Арабей

ПОЛОСА
ДОЖДЕЙ

*Лидия
Арабей*

ПОЛОСА ДОЖДЕЙ

*Повести,
рассказы
и путевые
очерки*

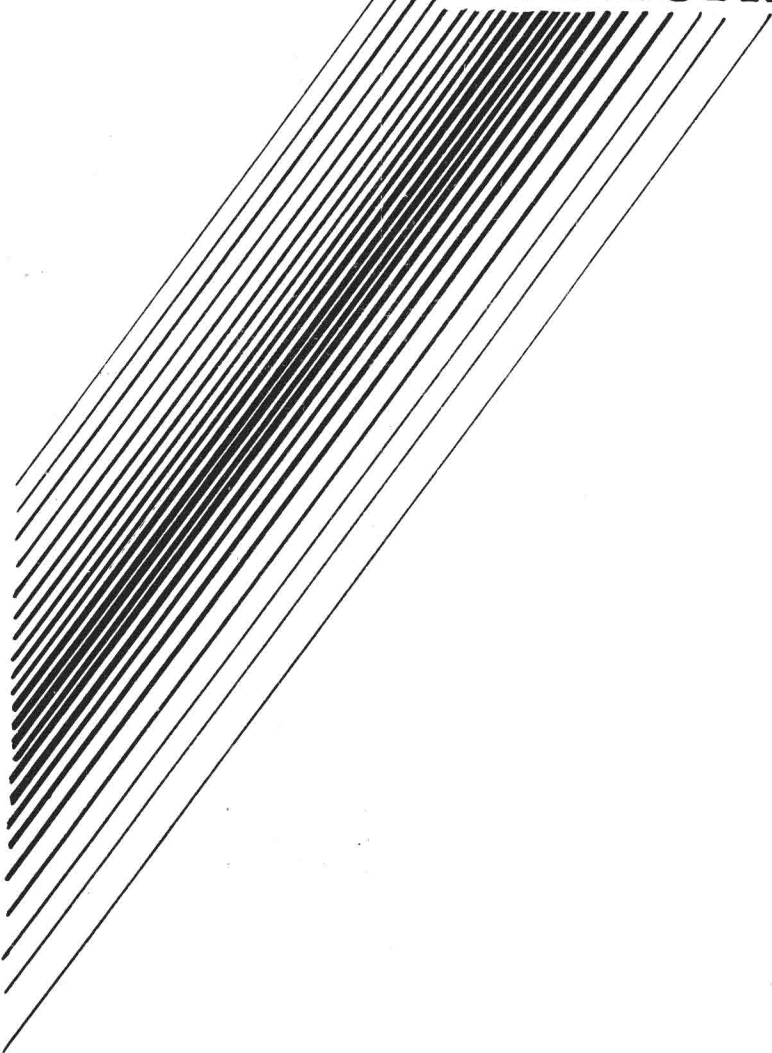
*Авторизованный
перевод
с белорусского
Т.Горбачевой*

•

*Москва
Советский
писатель
1985*



ПОВЕСТИ



Анатолий Малевич кочевал по больницам пятый год. Не так давно закончилась война, покалеченных людей еще немало оставалось на больничных койках, и каждый со своим страданием и со своей надеждой на чудо, которое сотворят доктора. Верил в чудо и Анатолий. Каждый новый госпиталь, новое лекарство приносили надежду; поначалу казалось, будто в самом деле легчало, но потом убеждался — все оставалось как и было, уж очень зло ужалила его пуля, задела позвоночник, и теперь у Анатолия совсем отказали ноги, руками мог делать только слабые движения, даже шея была неподвижна, и голова сидела как на железном стержне. Порою он злился на свою голову, уж лучше бы и в ней все закаменело, погасло, — так нет же, там все яснее ясного, мысли живут и бередают душу... Ну почему именно ему выпала такая судьба, почему не лежит он в братской могиле под Росою, где сложили головы столько ребят, а ему, видите ли, повезло, остался жив... Он с радостью поменял бы это свое везение на ту темную вечность, которую хоронит под собою могильный холмик и сторожит солдатская пирамидка. Хотя нет... Не такой он злыдень, чтобы пожелать кому-нибудь из тех ребят своей доли...

Анатолий остался среди живых — вечно озабоченных, суесящихся, хлопочущих, редко довольных жизнью и чаще всего несчастливых. Глядя на этих людей, Анатолий часто думал: «И чего вам горевать, переживать, какого еще ищете вы счастья, если самое большое счастье вы имеете — возможность стоять на ногах, ходить, трудиться?»

В последней из своих больниц, в городе, который пережил оккупацию и в котором было больше обгорелых коробок, чем уцелевших домов, Анатолий пролежал ровно год, постепенно привыкая к мысли, что доктора ему уже ничем не помогут и что отпущенную ему меру жизни придется провести на койке.

В этой больнице он пробыл дольше, чем в прежних, и, похоже, уже привык к белому, с пятном от сырости, по форме напоминавшем Скандинавский полуостров, потолку над головой, привык к окну напротив своей койки. За окном то падал снег, то шел дождь, то, как сейчас, пышно зеленела береза, а за нею, немного хмурая, темнела ель. Он привык к запаху лекарств в палате, к нянечкам и сестричкам в белых халатах — они были его родными и близкими, без них он не прожил бы и дня, они кормили его, мыли, разговаривали с ним, сочувствовали ему.

Особенно близкой стала сестра Маня — рослая, черноволосая, с чистым белым лицом. Ее темные, слегка выпуклые глаза смотрели внимательно, не так, как бывает у некоторых — человек, кажется, глядит на тебя, но тебя не видит; темные брови изгибались на лбу ровными дужками и словно еще добавляли ее глазам этого доброго внимания. Ходила Маня мягко, почти неслышно, бесшумно закрывала за собой дверь, но Анатолий даже сквозь сон, всегда у него беспокойный, угадывал ее появление в палате и ждал — вот сейчас она подойдет к его койке, подаст градусник или таблетку. Никогда она не отходила от него, не сказав хотя бы несколько слов, в которых Анатолий ощущал сочувствие, желание успокоить его душу, дать понять ему, что он не одинок. От других сестер и нянечек Анатолий слышал, что Мане не повезло с мужем — выпивает, дома воды ведра не принесет, дров не наколет. И Анатолий поражался, не понимал: как это можно не ценить, не беречь такую жену и зачем человеку с ногами-руками заливать мозги водкой? Сам он, еще будучи здоровым, даже во время войны не терпел этого зелья, не раз видел, как дуреют от него люди, и не хотел дуреть подобно им.

До войны... Когда был здоров... Это кажется таким далеким, как когда-то в школе представлялось «до нашей эры». словно это был не он, Анатолий Малевич, студент третьего курса пединститута, будущий учитель родного языка и литературы. До чего же радостным рисовалось ему будущее — глухая белорусская деревенька, школа и он, учитель в той школе. С ним поедет Лена, студентка биофака, она будет преподавать ботанику.

Странно — последние годы он даже не вспоминал Лену, а если пытался представить, лицо ее расплывалось, будто перед объективом, не наведенным на фокус, и не вызывало в душе ни тепла, ни сожаления. К чему вспоми-

нать прошлогодний снег и переживать, что он растаял? Давно уж, наверное, замуж вышла и забыла, что жил на свете Толя Малевич. Да, по правде сказать, Лена и не знала о той школе в глухой деревеньке, о которой он мечтал, он не успел сказать ей об этом, не успел и попросить, чтобы ждала его после войны. И хорошо, что не успел.

Больные в палате менялись, одних выписывали, другие поступали; дольше всех оставался рядом с Анатолием дядька Никанор, бывший сержант, до войны заведовавший складом на автобазе, мужчина лет сорока. Одну за другой делали ему операции на правой ноге, извлекая осколки. Оставалась угроза, что ногу придется ампутировать, но больной не соглашался, да и врачи еще на что-то надеялись. Анатолий завидовал соседу по койке: самое худшее для того — остаться без ноги, но подумаешь, что за беда, сделал бы протез — и хоть на танцы бегай... Какой прок Анатолию от двух его ног, если ни одна не двигается... И что будет дальше?

Впрочем, Анатолий уже знал, что будет дальше, — дом инвалидов: в больницах держат, пока можно лечить. Недели две тому назад проговорилась нянечка Вера, невысокая, полная, ласковая, которая к больным относилась как мать к непослушным детям, могла и отругать, и пожалеть, да они без нее и действительно, как малые дети без матери, не могли обойтись. Нянечка Вера меняла белье на его койке, постелила чистую простыню, взбила подушку, вздохнула:

— Кто уж там тебе будет взбивать?

— Где там, нянечка Вера?

— Ну, в том... инвалидном доме. Переводить собираются.

Когда-то он слышал такие слова — «дом инвалидов», может, еще до войны слышал, они вызывали в нем жалость к тому незнакомому, с кем случилась беда, но чувство это появлялось и тут же исчезало, не оставляя в душе никакого следа, как не оставляли следа в молодые годы и мысли о смерти, о тяжелых болезнях. Когда ты полон сил и здоровья, кажется, что беда может случиться с любым, но только не с тобой, тебе она не грозит, здоровая психика не принимает, гонит от себя плохие мысли. Точно так же когда-то не верилось, что его могут убить на войне или сделать калекой, хотя умом понимал — на войне и убивают, и калечат.

Оказывается, и он не застрахован от беды, и с ним

может случиться то же, что с каждым, с ним случилось даже худшее, самое худшее, что только может быть, и дом инвалидов, в котором он никак не мог представить себя, теперь станет его судьбой.

Когда он предавался таким мыслям, ему становилось плохо, как в жутком сне, когда кажется, проваливаешься, падаешь в бездну, у которой нет конца и нет из нее возврата, хотелось громко застонать, но он сдерживал стон, силой заставлял себя снова взглянуть на мир, глотнуть воздуха. До его ушей, которые только что ничего не слышали, начинали долетать голоса — это больные разговаривали в палате, и он прислушивался к этим голосам, и мало-помалу рассеивались черные мысли.

— Слышь, слышь... — Это говорил Федька, присказка у него была такая: чуть ли не после каждого слова «слышь, слышь». — Она идет — и я за нею, она во двор — и я за нею. Оглядывается на меня — и глазками хлоп-хлоп. Ну, думаю, Федька!.. Слышь, слышь...

Федька ржал, держась за шов на животе, говорил, что очень болит, когда смеется, но желание потешить соседей по палате было сильнее боли.

— Э, со мною не такое было, тебя хоть девка гвозданула, а меня мужик, — подхватывал эстафету смеха Иван с рукой, замурованной в гипс.

Анатолий слушал и понемногу выплывал из бездны, слабели тиски, сжимавшие голову, отпускало в груди, лицо светлело, и губ касалась улыбка.

А разговор в палате уже шел о другом. Тот же Федька говорил:

— Слышь, слышь... Как ахнет атомная... Ничего на земле не останется.

— Не ахнет, — с явной угрозой кому-то отозвался Иван. — Твоя бомба вроде палки о двух концах: одним по тебе, а другим...

У всех еще саднило во рту от горечи этой войны, а уже висел над головами страх новой. Казалось невероятным, чтобы после стольких страданий, смертей снова захлебываться кровью, снова идти по костям человеческим. И словно за спасение, за надежду хватались за победу, которая была еще настоящим, а не историей.

— Подавятся Россией, как Гитлер подавился...

Похожие один на другой проходили больничные дни, одни выписывались, другие поступали. Каждое утро появлялась в палате сестра Маня, совала больным под мыш-

ки холодные и мокрые от раствора градусники, раздавала таблетки, делала уколы.

Однажды, сделав свою работу, она под села к кровати Анатолия, поправила подушку, одеяло и вдруг сказала:

— Жениться вам надо, Анатолий.

Он повел на нее взглядом, не зная, обидеться за такую шутку или посмеяться вместе с Маней, но глаза сестры были серьезны.

— Скажете, — вяло отозвался, глядя в сторону.

— А что скажу, что скажу? — в голосе Мани появилась несвойственная ей строгость. — Из больницы выписали бы. Жена бы за вами ухаживала. Дома лучше, чем где...

Сдерживая себя, чтобы не сказать Мане, которую уважал, грубость, наконец выговорил:

— Я не думал, что вы способны так шутить.

Маня наклонилась над ним, совсем близко он видел ее внимательные темные глаза с ровненькими дужками бровей.

— Я не шучу, — сказала так, что Анатолий поверил — не шутит.

И он ответил без обиды, с улыбкой:

— Кому я нужен...

Маня стала его убеждать:

— Знаете... Всякой душе есть пара. А мужчина — он всегда мужчина... У нас как говорят? Умер муж — осталась вдова, умерла жена — остался жених.

— Жених! — с иронией сказал о себе Анатолий.

— А почему же нет? Пенсия у вас хорошая, квартиру вам, как инвалиду войны, дадут в первую очередь, будете с женой жить и горя не знать... Вы еще совсем молодой, двадцать семь, и красивый. Что ж вам, век одному маяться?

— Ну и придумали! — хотел от души посмеяться над Маниными доводами Анатолий, но что-то помешало ему, улыбка получилась натянутой, невеселой.

— Вот и придумала. — Маня встала, отодвинула табуретку. — А вы полежите да подумайте над тем, что я придумала.

— Да уж чего там, полежу, — улыбнулся Анатолий, решив свести разговор на шутку, — так и быть, сегодня никуда не побегу.

Маня ушла, а он и в самом деле лежал и думал. Хотелось выбросить из головы этот разговор, ну, посмеялись,

и хватит, зачем думать о невозможном, но Манины слова все же запали в душу, а тут еще дядька Никанор стал гудеть над ухом:

— Бабы, они, как и мужики, всякие бывают... бывают каких мало и каких много.

Дядька Никанор всех людей вообще делил на тех, каких мало и каких много.

— Сварливые бывают, болтливые. А бывает, себя наизнанку вывернет... Если жениться, то очень важно угадать, чтоб не ошибиться. Они, бабы, хитрые. Все замуж хотят, так которая и овечкой прикинется...

На минуту Никанор умолкал, морщился, трогал под одеялом большую ногу, укладывал ее удобнее, вздыхал и вел дальше:

— А там черт ее разглядишь, ту бабу, она так опутает нашего брата... Другой раз смотришь на такого и думаешь: что он, не видит, как она из него веревки вьет, еще и не жена, а уже на шею села... — Дядька Никанор снова выискивал ноге удобное место. — Так что ты приглядывайся, не бросайся на что попало...

— Да оставьте вы! Куда тут приглядываться, кто на меня глянет?

— Не скажи, не скажи, — повертел головой дядька Никанор.

Кончился больничный день, в палате утихли голоса, нянечка выключила электричество, только из коридора через матовое дверное стекло сочился желтый свет. На соседних кроватях давно уже спали, один дядька Никанор все никак не мог уместить свою ногу, вертелся под одеялом и говорил вполголоса:

— Мне, брат, ногу эту давно хотели отрезать, еще когда во фронтовой госпиталь попал, да только доктор там был, я тебе скажу, каких мало. Не дал резать... Так разве теперь отдам? Если тот сказал — не надо резать, значит, и этим не дам. А ты слушай Маню, слушай, — неожиданно заключил он.

Наконец и дядьку Никанора сморил сон, в полутьме палаты видна была его белая рубаха, распахнутая на груди, лицо и шея темно выделялись среди белизны. Дышал он неровно, временами стоял во сне — то ли от боли, то ли от тяжелых сновидений, в которых к нему часто приходила война. Каждое утро дядька Никанор, проснувшись, рассказывал палате свои сны, в них он стрелял, бросался под танки, брал в плен фрицев.

Теперь во всей палате не спал один Анатолий. Возбужденный разговором, лежал он на спине, смотрел то на квадрат желтого света, падающего из коридора, то на окно с марлевой занавеской, темно поблескивавшее вымытым стеклом, и представлял себе женщину. Он ощущал ее дыхание, воображал ее руки, их теплое прикосновение... Женщина была похожа на Лену. Раньше он не мог себе представить Лену, а здесь вдруг представил — и синие глаза, и светлую прядку волос надо лбом, и румяные от мороза щеки. Странно — раньше вспоминал Лену совсем без сожаления, а сегодня вдруг сдавила грудь тоска об утраченном навсегда.

Он пытался повернуть скованное тело, но оно лежало, как тяжелый пласт, и только слегка шевелились руки. О, каким счастьем для него было бы встать на костыли, чтобы хоть с их помощью передвигаться, хотя бы от стенки к стенке...

Потом он уснул, и ему приснилось, что он ходит, бегает, берет в руки топор, колет дрова и говорит себе: «Смотрите, я здоров, вот мои руки, мои ноги». И так ясно, так реально ощущал топорнице в руке, землю под ногами, что не мог поверить, будто это сон, и сам себя убеждал: «Я не сплю, я здоров...»

Мучительно было просыпаться, возвращаться к белому потолку над головой, к окну, за которым начиналось хмурое утро. После завтрака сестра Маня снова принялась за свое — что надо ему жениться.

— Да бросьте вы, — сказал Анатолий.

Он собирался произнести эти слова твердо, чтобы раз и навсегда положить конец подобным разговорам, но что-то в его голосе изменило этой твердости, он и сам почувствовал, что сказал не так, как хотел. А тут еще больные вмешались в разговор.

— А что, живому живое, — сказал один.

— Женись, парень, женись, — поддержал другой.

— Я ему вчера весь вечер вдалбливал, — отозвался и дядька Никанор.

Анатолий понимал, хорошо понимал: в этих людях говорит простое сочувствие к нему, он по-прежнему не верил, что подобное возможно для него, но молчал, не зная, что ответить. А сестра Маня поняла его молчание по-своему.

— Вот и хорошо... У меня есть на примете. Сосватаю, — весело сказала она.

Сватовство привело в движение всю больницу — врачей, сестричек, нянечек, больных. В палате только и говорили, что о женщине, которая должна прийти, расспрашивали сестру Маню, кто она да какая, но сестра Маня неохотно вступала в разговоры: женщина как женщина, вдова, сын у нее.

Парикмахер побрил Анатолия, нянечка Вера сменила постельное белье, надела ему чистую рубаху.

Сначала Анатолий смотрел на все это со скептической улыбкой, но потом внутри что-то стало дрожать.

Сестра Маня сказала, что женщина придет в пять вечера, и чем ближе подходило это время, тем сильнее дрожало в груди. Теперь он и хотел, и боялся этого, очень хотел перемены в жизни и боялся, что ничего из этого не получится.

Анатолий привык видеть вокруг себя женщин — медсестер, нянечек, он вполне мог сказать, — как шутил когда-то тяжело больной поэт Гейне, — что женщины носят его на руках.

Медсестры и нянечки уговаривали Анатолия не стесняться, когда делали процедуру или меняли белье, но он не мог привыкнуть к этому и продолжал стыдиться своего неподвижного голого тела. Не мог свыкнуться с тем, что медсестры, няни, как и врачи, в больнице только работники.

А та, что должна прийти, из другого мира... Какая она?

По тому, как близко к сердцу приняли его сватовство в больнице, Анатолий понял — люди верят, что это в самом деле возможно, их вера стала передаваться ему, и перехватывало дыхание, и дрожало, дрожало внутри. Он все время поглядывал на дверь, замирал, когда слышал шаги, приближавшиеся к палате, но входили сестричка или нянечка, подмигивали, как бы внушали ему держаться героем.

И когда вместе с сестрой Маней в палату вошла полная женщина в цветастом платье, Анатолий не сразу догадался, что это она.

Сестра Маня подвела женщину к его кровати, и он не столько увидел, сколько почувствовал любопытство больных, как они оглядывали гостью, пытаясь тут же, видимо, дать ей оценку.

— Вот, познакомьтесь... Клава, — сказала Маня. —

Садись, садись, Клава, — подставила она женщине табуретку, заранее принесенную к кровати Анатолия.

Клава осторожно присела, не спуская глаз с Анатолия, и Анатолий смотрел на нее, еще не веря, что это она и есть та самая, которую ждал с замиранием сердца. Нет, он не представлял, да и не мог до конца представить себе ту женщину, и все же, когда вошла эта, понял, что ждал не такую, может, помоложе, может, потоньше, но не такую. Уловив в сердце разочарование, тут же упрекнул себя: «А сам-то чего стоишь...»

Медсестра Маня, сославшись на то, что ей надо делать процедуру в соседней палате, вышла; подталкивая друг дружку, гуськом вышли и ходячие больные, остался только дядька Никанор, который еще не вставал после операции.

В ушах у Анатолия тоненько звенело, нужно было что-то говорить, ведь к нему пришла гостья, и он должен быть благодарен, не хватало еще, чтоб она подумала, будто он ко всему прочему еще и безъязыкий, но в голове звенела зеленая пустота, не приходило ни одного слова, ни одной мысли.

— Ах, да, я же вам тут принесла, — сказала вдруг Клава и стала развязывать узелок, лежавший у нее на коленях.

Она положила на тумбочку два яблока и булочку. Увидела, что на тряпицу, в которую были завернуты гостинцы, насыпалось крошек, натруженными красными пальцами стала сгребать их в кучку, огляделась, не нашла, куда можно высыпать крошки, снова завернула их в тряпицу и сунула ее под резинку рукава своего цветастого платья.

— Спасибо, не надо было приносить, — севшим от волнения голосом сказал Анатолий.

— Да не за что. Как же — к больному и без гостинца? Нельзя, — сказала Клава.

У нее было круглое лицо, реденькие светлые волосы, высокую, необъятную грудь туго обтягивало пестрое платье. Вообще она была очень полной, и в этой полноте чувствовалось что-то не совсем здоровое, на лице лежала печать страдальческой доброты, глаза с короткими ресницами как бы говорили: «Я сама немало горя видела и чужое горе понимаю».

— Это же мы с Маней соседки, — начала Клава. — Она мне сказала про вас, сказала, что вы одинокий, нико-

го у вас нет, все в войну погибли... И у меня все в войну погибли, и мужа немцы повесили, сынок вот сиротою растет...

Веки ее покраснели, на глаза набежали слезы, она выхватила из-под резинки рукава тряпицу, в которой принесла гостинец, крошки посыпали на подол, но Клава не заметила этого, стала вытирать тряпичей глаза, нос.

— Найдется ли у нас хоть один человек, которого обошла бы война? — сочувственно сказал Анатолий.

— Да, да, — согласилась Клава. Сквозь слезы у нее проступила уже улыбка, тряпица снова спряталась в рукаве. — Ведь вот бабская порода, глаза на мокром месте, до войны я не такая была, хохотушка была, палец покажи, так я уже хохочу.

Анатолий был рад, что гостья перестала плакать, не мог он спокойно смотреть на чужие слезы и теперь старался повернуть разговор в более веселое русло:

— У нас здесь хотя и больница, хотя и больные все, а тоже смеху бывает. Как начнут мужчины байки баять...

— Да, Маня мне рассказывала, — кивнула Клава.

Открылась дверь, заглянул больной, молодой парень из недавно поступивших, но кто-то там, в коридоре, схватил его за шиворот и оттащил от двери. Правда, Клава ничего не видела, потому что сидела спиной к дверям. Она рассказывала про Маню, какая она хорошая, душевная женщина. Вздыхая, сетовала, что хорошим женщинам часто не везет в жизни. Анатолий догадывался, что Клава намекает на Маниного мужа.

— Мой Иван хороший был, ой какой хороший, слова худого мне не сказал, получку всю отдавал до копейки, — рассказывала гостья. — Теперь мужчины не такие, разбаловались, да и женщины, я вам скажу... Сами на шею вешаются.

И она повела рассказ про другую свою соседку, у которой муж тоже ходит по чужим женам, как та бегают по городу со скалкой, бьет окна соперницам. К концу рассказа Клава рассмеялась: видно, хохотушка не погибла в ней до конца.

Анатолий в какие-то минуты забывал, зачем пришла сюда Клава, — заглянула навестить — и все, — потом вспоминал свое ожидание, волнение, планы сестры Мани, и сердце сжимал шершавый холод, становилось тревожно на душе.

А гостья снова что-то рассказывала, Анатолий уже

силился понять — о чем; он пропустил какой-то кусок из ее рассказа и теперь не мог уловить смысла, не понимал, кто такой Коля, кто такая Зина, о которых шла речь, и ему было неловко: вдруг Клава догадается...

Наконец гостя спохватилась:

— Ох, заболталась я...

Махнула рукой и встала с табуретки. С минуту вроде ждала, что Анатолий задержит ее, попросит посидеть еще. Он не попросил, а она слегка растерянно поклонилась ему, сказала:

— Будьте здоровы... Если позволите, я еще приду, я живу здесь недалеко.

— Приходите, я буду рад, — ответил Анатолий.

И Клава пошла к дверям довольно легкой для такого полного тела походкой.

Когда за нею закрылась дверь, Анатолий вздохнул, как после тяжелой процедуры, почувствовал, что даже рубашка на нем взмокла от пота. В голове шумело, и было неловко, совестно, будто он совершил какой-то неприличный поступок.

— Ну и баба! — услышал он голос дядьки Никанора, о котором совсем забыл, что тот все время лежал рядом, все слышал, все видел. — Я тебе скажу — рук не хватит, чтоб обнять... Но я люблю, если женщина в теле, около такой теплее. — Он засмеялся, но засмеялся по-доброму, без намека на непристойное, словно бы припомнив что-то хорошее в своей жизни. — Ты ее не упускай, — говорил дядька Никанор поучительно, как старший младшему, — она баба сильная, и поднимет тебя, и поможет, и на лицо неплохая, будешь у нее как у Христа за пазухой.

— Оставьте, — сказал Анатолий. С большой радостью он отвернулся бы от соседа, отвернулся бы от всего мира, лег бы лицом к стене, натянул на голову одеяло, но он не мог повернуться и сделал одно, на что был способен, — закрыл глаза.

Он был благодарен сестрам, нянечкам, больным за то, что не набежали сразу, не стали выпрашивать у него, а может, это медсестра Маня не велела им его трогать, дать время ему подумать.

От ужина Анатолий отказался, когда нянечка пришла кормить его, только поморщился и даже не открыл глаз.

Сам не заметил, как задремал, и приснилась ему война, не та, что была, а новая, снова напали немцы, и он, здоровый, идет за «языком». Он ползет по холодному сы-

пучему снегу, подползает под колючую проволоку, и его шинель цепляется за проволоку, он дергается туда-сюда, чтоб отцепиться, но не может сдвинуться с места, а немцы — вот они, совсем рядом, он слышит, как они гогочут, и боится, что сейчас они увидят его, расстреляют. Он вжимается в снег и замирает, ждет, когда отойдут. Вот голоса их все дальше и дальше, и он снова начинает дергаться, чтобы освободить шинель, и снова не может тронуться с места, и думает, мучительно думает: почему же так, почему снова война? Иван ведь сказал, что войны больше не будет...

Холодный снег жжет лицо, руки, стынут, деревенеют ноги, а колючая проволока прошла уже шинель и гимнастерку, впивается в тело, и Анатолий понимает, что ему не выбраться отсюда, не выполнить задания, не привести «языка». Стыд становится сильнее боли, он стонет не от боли, а от стыда, стонет все сильнее и... просыпается.

Поначалу даже не сообразил, где он и что с ним, но через мгновение вернулась реальность — темная палата, храп у дверей — больной на той кровати всегда храпел, — светлые квадраты на дверном стекле. Сразу вроде бы полегчало, страшное осталось там, во сне, но тут же вспомнил, что и наяву, как во сне, он не может пошевелиться. Прогоняя остатки сна, в памяти выплыло круглое лицо Клавы, ее полная фигура, и Анатолий снова чуть не застонал — от тоски и стыда.

Он долго лежал с открытыми глазами, остро ощущая тонкий запах яблок и ванильной булочки, которые принесла Клава, и ему снова казалось, что он совершил что-то непорядочное, словно обокрал ребенка или нищего. Лучше бы Клава сыну отдала и эти яблоки, и эту булочку. Не богачка ведь, не каждый день может ее ребенок получить такое лакомство.

А потом душу стало беречь другое — слова, фразы, образы. Когда-то, еще в школе, а затем в институте, он писал стихи. Они слагались легко, просто, нанизывалось слово на слово, строка на строку. Он исписывал стихами целые тетрадки, но стеснялся этого своего занятия и никому их не показывал.

На войне зуд писать стихи почти пропал, приходили, правда, в голову строчки, складывались в строфы, но как приходили из небытия, так в небытие и уходили.

Сейчас снова часто бредило душу, но слова стали тя-

желыми, как валуны, как пласты земли, их тяжело было перебирать, тяжело удерживать в мыслях, отыскивая каждому свое место.

И все-таки он их перебирал, складывал:

Годы пройдут, и напишут историки,
Что война началась в сорок первом году,
А весной сорок пятого

Мы победили...

Мы победили...

Но я напишу свой протест в академию,
Скажу, что неправильно там написали
О годах войны — о конце и начале...

Война длилась столько,
Сколько я жил на свете,
Дорогой войны пошли мои дети,
И внуки мои, и правнуки,
Которые не родились...

Он понимал, что стихи его очень далеки от совершенства, но он ведь и не предлагал их никому — ни печатать, ни даже слушать, они нужны были только ему, чтобы выразить то, что мучило.

Словно ребенок, который наплакался и заснул, обесилев от слез, задремал и Анатолий.

Проснулся утром оттого, что сестра Маня поставила ему под мышку градусник, — начался новый больничный день.

После сна, хотя и короткого, Анатолий почувствовал себя крепче, увереннее, отошло то, что томило душу, все показалось не таким уж безнадежным, даже почувствовал прилив бодрости и что-то похожее на радость — может, оттого, что ветер шевелил марлевою занавеску на открытом окне, а может, от чирикания воробьев на больничном дворе, от бликов солнца на вершине постоянно хмурой ели, от голубого неба над нею. Подумалось даже: «Нет, все-таки лучше жить, чем лежать в земле...»

Клава пришла и еще раз, и еще, она каждый раз была все в том же цветастом платье и приносила всегда булочку и два яблока, хотя Анатолий просил ее ничего не приносить.

Она работала уборщицей в парикмахерской и рассказывала Анатолию разные истории, которые слышала там, а истории были в основном про то, как жены, матери, получив похоронную, оплакивали своего сына или мужа, а он возьми да и вернись живой.

— Если б я не видела своего Ивана мертвым, тоже ждала бы, надеялась, — сказала как-то Клава.